

Борис Васильев

Не стреляйте белых лебедей

*Другу, с чьей помощью родилась эта книга,
Нине Андреевне Красичковой посвящаю*

От автора

Когда я захожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора.

Я нахожу его в июньском краснолесье — неутомимого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокряди — серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине — задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным — разным для людей и разным для себя.

И разной была его жизнь — жизнь для себя и жизнь для людей.

А может быть, все жизни разные? Разные для себя и разные для людей? Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или

являясь разными, всегда ли мы едины в своем существе?

Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным — ни лучше, ни хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть.

1

Егора Полушкина в поселке звали бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, иступленно кричала въедливым, как комариный звон, голосом:

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и знаков препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, как мать права.

А Егор от криков и ругани всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнил себя.

— У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!..

Харитина Полушкина была родом из Заонежья и с ругани легко переходила на причитания. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уже невозможное имя, которое ласковые соседуски сократили до первых двух слогов:

— Харя-то наша опять кормильца своего критикует. А еще то ей было обидно, что родная сестра (ну, кадушка кадушкой, ей-богу!), так родная сестра Марья белорыбицей по поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала:

— Не повезло Тине с мужиком. Ах, не повезло, ах!..

Это при ней — Тина и губки гузкой. А без нее — Харя и рот до ушей. А ведь сама же в поселок их сманила. Дом заставила продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть:

— Тут, Тина, культура. Кино показывают.

Кино показывали, но Харитина в клуб не ходила. Хозяйство хворобное, муж в дурачках, и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячить — примелькаешься. А у Марьицы (она, стало быть, Харя, а сестрица — Марьица, вот так-то!), так у Марьицы платьев шерстяных — пять штук, костюмов суконных —

два да костюмов джерсовых — три целых. Есть в чем на культуру поглядеть, есть в чем себя показать, есть что в ларь положить.

А причина у Харитины одна: Егор Савельич, муж дорогой, Супруг законный, хоть и невенчаный. Отец сыночка единственного. Кормилец и добытчик, козел его забодай.

Между прочим, друг-приятель приличного человека Федора Ипатовича Бурьянова, Марьиного мужа. Через два проулка — дом собственный, пятистенный. Из клейменных бревен: одно в одно, без сучка без задоринки. Крыша цинковая: блестит — что новое ведро. Во дворе — два кабанчика, овец шесть штук да корова Зорька. Удоистая корова — в дому круглый год Масленица. Да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему всех командированных водили:

— Чудо местного народного умельца. Одним топором, представьте себе. Одним топором сработано, как в старину!

Ну, правда, чудо это к Федору Ипатовичу отношения не имело: только размещалось на его доме. А сделал петуха Егор Полушкин. На забавы у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего...

Вздыхала Харитина. Ох, недоглядела за ней матушка-покойница, ох, не уходил ее вожжами

отец-батюшка! Тогда б, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за Федора. Царицей бы жила.

Федор Бурьянов сюда за рублем приехал тогда еще, когда здесь леса шумели — краю не видать. В ту пору нужда была, и валили этот лес со вкусом, с грохотом, с прогрессивкой.

Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился. Бытие, так сказать, на данном этапе обогнало чье-то сознание, породив комфортабельный, но никому уже не нужный поселок среди чахлых остатков некогда звонкого краснолесья. Последний массив вокруг Черного озера областные организации и власти с превеликим трудом сумели объявить водоохранным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенной по последнему слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили и снова грузили, и вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке.

А вот Федор Ипатович за год вперед все в точности Марьице предсказал:

— Хана прогрессивкам, Марья: валить вскорости нечего будет. Надо бы подыскать чего поспособнее, пока еще пилы в ушах журчат.

И подыскал: лесником в последнем охранном массиве при Черном озере. Покосы бесплатно, рыбы навалом, и дрова задарма. Вот тогда-то он себе пятистенок и отгрохал, и добра понапас, и хозяйство развел, и хозяйку одел — любо-дорого. Одно слово: голова. Хозяин.

И держал себя в соответствии; не елозил, не шебаршился. И рублю и слову цену знал: уж ежели ронял их, то со значением. С иным за вечер и рта не раскроет, а иного и поучит уму-разуму:

— Нет, не обротал ты жизнь, Егор: она тебя обротала. А почему такое положение? Вникни.

Егор слушал покорно, вздыхал: ай, скверно он живет, ай, плохо. Семью до крайности довел, себя уронил, перед соседями стыдоба — все верно. Федор Ипатович говорит все правильно. И перед женой совестно, и перед сыном, и перед людьми добрыми. Нет, надо кончать ее, эту жизнь. Надо другую начинать: может, за нее, за будущую светлую да разумную, Федор Ипатович еще рюмочку нальет, сдобрится?...

— Да, жизнь обротать — хозяином стать: так-то старики баивали.

— Правда твоя, Федор Ипатыч. Ой, правда!

— Топор ты в руках держать умеешь, не спорю. Но — бессмысленно.

— Да уж. Это точно.

— Руководить тобою надо, Егор.

— Надо, Федор Ипатыч. Ой, надо!..

Вздыхал Егор, сокрушался. И хозяин вздыхал, задумывался. И все тогда вздыхали. Не сочувствуя — осуждая. И Егор под их взглядами еще ниже голову опускал. Стыдился.

А вникнуть если, то стыдиться-то было нечего. И работал Егор всегда на совесть, и жил смирно, без баловства, а получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая на чем свет стоит.

С гнезда насиженного, где жили в родном колхозе если не в достатке, так в уважении, с гнезда этого в одночасье вспорхнули. Будто птицы несмышленные или бобыли какие, у которых ни кола ни двора, ни детей, ни хозяйства. Затмение нашло.

Тем мартом — метельным, ознобистым — теща померла, Харитины да Марьицы родная маменька. Аккурат к Евдокии преставилась, а на похороны родня в розвальнях съезжалась: машины в снегах застревали. Так и Марьица прибыла: одна, без хозяина. Отплакали маменьку, отпели, помянули, полный чин справили. Сменила Марьица черный плат на пуховую шаль да и брякнула:

— Отстали вы тут от культурной жизни в своем навозе.

— То исть как? — не понял Егор.

— Модерна настоящего нету. А у нас Федор Ипатыч новый дом ставит: пять окон на улицу. Электричество, универмаг, кино каждый день.

— Каждый день — и новое? — поразилась Тина.

— А мы на старое и не пойдем, надо очень. У нас этот... Дом моделей, промтовары заграничные.

Из темного угла строго смотрели древние лики. И мать божья уже не улыбалась, а хмурилась, да кто глядел-то на нее с той поры, как старуха душу отдала? Вперед все глядели, в этот, как его... в модерн.

— Да, ставит Федор Ипатыч дом — картинка. А старый освобождается: так куда ж его? Продавать жалко: гнездо родимое, там Вовочка мой по полу ползал. Вот Федор Ипатыч и наказал вам его подарить. Ну, пособите, конечно, сначала новый поставить, как водится. Ты, Егор, плотничать наострился.

Подсобили. Два месяца Егор от зари до зари топором тюкал. А зори-то северные: растыкал их господь по дню далеко друг от друга. До звона намахаешься, покуда стемнеет. А тут еще Федор Ипатович пособляет:

— Ты еще вон тот уголок, Егорушка, притеси. Не ленись, работничек, не ленись: я тебе дом задарма отдаю, не конуру собачью.

Дом, правда, отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не сточил: даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем. И еще погреб раскатал да выволок: бревна там в дело могли пойти. За сараюшку было взялся, да тут уж Харитина не выдержала:

— Змей ты подколодный кровопивец неистовый выжига перелютая!

— Ну, тихо, тихо, Харитина. Свои ведь, чего шуметь? Не обижаешься, Егор? Я ведь по совести.

— Дык это... Стало быть, так, раз оно не этак.

— Ну, и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой. Дарю.

И пошел себе. Ладный мужик. И пиджак на нем бостоновый.

Помирились. В гости захаживали. Робел Егор в гостях-то в этих, хозяина слушал.

— Свет, Егор, на мужике стоит. Мужиком держится.

— Верно, Федор Ипатыч. Правильно.

— А разве есть в тебе мушкетерство настоящее? Ну, скажи, есть?

— Дык ведь как... Вон баба моя...

— Да не про то я, не про срам! Тьфу!..

Смеялись. И Егор со всеми вместе хихикал: чего ж над глупым-то не посмеяться? Это над Федором Ипатовичем не посмеешься, а над ним-то

— да на здоровье, граждане милые! С полным вашим удовольствием!..

А Тина только улыбалась. Изо всех сил улыбалась гостям дорогим, сестре родимой да Федору Ипатовичу. Этому — особо: хозяин.

— Да, направлять тебя надо, Егор, направлять. Без указания ты ничего не спроворишь. И жизнь самолично никогда не осмыслишь. А не поймешь жизни — жить не научишься. Так-то, Егор Полушкин, бедоносец божий, так-то...

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак...

2

Но зато был Колька.

— Чистоглазый мужичок растет, Тинушка. Ох, чистоглазик парень!

— Ну, и глупо, что так, — ворчала Харитина (она всегда на него ворчала. Как председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала). — Во все времена чистоглазым одно занятие: на себе пахать заместо трактора.

— Ну, что ты, что ты! Напрасно так-то, напрасно.

Колька веселым рос, добрым. К ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался — и во все верил. Чего ни сокрут, чего ни

выдумают — верил тотчас же. Хлопал глазами, удивлялся:

— Ну-у?...

Простодушия в этом «ну-у?» на пол-России хватило бы, коли б в нем нужда оказалась. Но спроса на простодушие что-то пока не было, на иное спрос был:

— Колька, ты чего тут сидишь? Тятьку твоего самосвалом переехало: кишки изо рта торчат!

— А-а!..

Бежал куда-то Колька, кричал, падал, снова бежал. А мужики хохотали:

— Да куда ты, куда? Живой он, тятка твой. Шутим мы так, парень. Шутим, понял?

От счастья, что все хорошо закончилось, Колька забывал обижаться, а только радовался. Очень радовался, что тятка его жив и здоров, что не было никакого самосвала и что кишки у тятки на месте: в животе, где положено. И поэтому звонче всех смеялся, от всего сердца.

А вообще нормальный малец был. В речку с обрыва нырял и ласточкой и топориком. В лесу не плутал и не боялся. Собак самых злющих в два слова утихомиривал, гладил, за уши их дергал, как хотел. И цепной пес, пену с клыков не сбросив, комнатной собачонкой у ног его ластился. Ребята очень этому удивлялись, а взрослые объясняли:

— Отец у него собачье слово знает.

Правда тут была: Егора собаки тоже не трогали.

И еще Колька терпеливым рос. Как-то с березы сорвался (скворечник вешал, да ветка надломилась), до земли сквозь все сучья просквозил, и нога на сторону. Ну, вправили, конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног — только кряхтел. Даже докторша удивилась:

— Ишь, мужичок с ноготок!

А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе слышал: ревет сынок в сараюшке (Колька спал там, когда сестренка народилась. Горластая больно народилась-то — вся в маменьку). Заглянул: Колька лежал на животе, только плечи тряслись.

— Ты чего, сынок?

Колька поднял зареванное лицо: губы прыгали.

— Ункас...

— Чего?

— Ункаса убили. В спину ножом. Разве ж можно — в спину-то?

— Какого Ун... Ункасу?

— Последнего из могижан. Самого последнего, тятка!..

Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи:

— Ункас преследовал врага, готовый с ним сразиться. Настиг и начал биться...

Дальше стихи не получались, но Колька не сдавался. Он метался в тесном проходе меж поленницей и топчаном, бормотал разные слова и размахивал руками. За дощатой стеной заинтересованно хрюкал поросенок.

А Егор сидел на кухне в кальсонах и бязевой рубашке и, шевеля губами, читал книгу про индейцев. Над странными именами шумели знакомые сосны, под таинственной пирогой металась та же рыба, а томагавком можно было запросто наколоть к самовару лучины. И поэтому Егору уже казалось, что история эта происходила не в далекой Америке, а здесь, где-то на Печоре или на Вычегде, а хитрые имена придуманы просто так, чтобы было завлекательнее. Из сеней тянуло ночным холодком, Егор сучил застывшими ногами и читал, старательно водя пальцем по строчкам. А через несколько дней, осилив наконец-таки эту самую толстую в своей жизни книгу, сказал Кольке:

— Хорошая книжка.

Колька подозрительно всхлипнул, и Егор уточнил:

— Про добрых мужиков.

Вообще Колькины слезы недалеко были спрятаны. Он плакал от чужого горя, от бабьих

песен, от книг и от жалости, но слез этих очень стеснялся и потому старался реветь в одиночестве.

А вот Вовка — погодок, двоюродный братишка — только от обиды ревел. Не от боли, не от жалости — от обиды. Сильно ревел, до трясушки. И обижался часто. Иной раз ни с того ни с сего обижался.

Вовка книг читать не любил: ему на кино деньги давали. Кино он очень любил и смотрел все подряд, а если про шпионов, то и по три раза. И рассказывал:

— А он ему — хрясь, хрясь! Да в поддых, в поддых!..

— Больно, поди! — вздыхал Колька.

— Дура! Это ж шпионы.

И еще у Вовки была мечта. У Кольки, к примеру, мечта каждый день была иная, а у Вовки — одна на все дни:

— Вот бы гипноз такой открыть, чтоб все-все заснули. Ну, все! И тогда б я у каждого по рублику взял.

— Чего ж только по рублику?

— А чтоб не заметил никто. У каждого по рублику — это ого! Знаешь сколько? Тыщи две, наверное.

Поскольку денег у Кольки сроду не водилось, он о них и не думал. И мечты у него поэтому были

безденежные: про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты были, невесомые.

— Хорошо бы живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит.

— Бесплатно?

— Так по улице же.

— Врут. Бесплатно ничего не бывает.

Вовка увесисто говорил, как сам Федор Ипатович. И глядел так же: с прищуром. Особый такой прищур, бурьяновский. Федору Ипатовичу это нравилось:

— Ты, Вовка, сквозь гляди. Сверху все лжа.

Вовка и старался глядеть сквозь, но Колька все же с братиком водился. Не спорил, не дрался, но, правда, и особо не слушался. Если уж очень Вовка нажимал — уходил. Одного не прощал только: когда тот над отцом его, над Егором Полушкиным, подхихикивал. Здесь и до крайности порой доходило, но мирились быстро, все-таки родная кровь.

А про слона, который каждое утро в Москве по улицам ходит, Кольке отец рассказал. Уж где он про этого слона разузнал, неизвестно, потому что телевизора у них не было, а газет Егор не читал, но говорил точно, и Колька не сомневался. Раз тятка сказал — значит, так оно и есть.

А вообще-то слонов они только на картинках видели и один раз — в кино. Там показывали цирк, и слон стоял на одной передней ноге, а после очень смешно кланялся и хлопал ушами. Сутки целые они тогда про слонов говорили.

— Умная животная.

— Тять, а в Индии пашут на них?

— Нет. — Егор не очень знал, что делают слоны в Индии, но прикидывал. — Здоров он больно для пахоты-то. Плуг выдернет.

— А чего ж они там делают?

— Ну, как чего? Тяжелое всякое. На лесоповале, к примеру.

— Вот бы нам сюда слона, а, тять? Он бы штабеля грузил, рудостойку, пиловочник.

— Да-а. Жрет много. Сенов не напасешься.

— А в Индии как же?

— Дык у них с кормами порядок. Лето сплошное: траву хоть двадцать раз коси.

— И валенки не нужны, да, тять? Вот красота-то, наверно!

— Ну не скажи. У нас получше будет. У нас — Россия. Самая страна замечательная.

— Самая-самая?

— Самая, сынок. Про нее песни поют по всей земле. И все иностранные люди нам завидуют.

— Значит, мы счастливые, тять?

— Это не сомневайся. Это точно.

И Колька не сомневался: раз тятка сказал, стало быть, так оно и есть. Тем более что сам Егор истово в это верил. Ну, а уж если Егор во что-то там верил истово, то и говорил об этом особо, и мнения своего не менял, и даже с самим Федором Ипатовичем спорил крепко.

— Глупый ты мужик, Егор, раз такое мелешь. Ну, какая на тебе рубаха? Ну, скажи?

— Синяя.

— Синяя! Дерьмовая на тебе рубаха: с третьей стирки на подтирку. А у меня — заграница. Простирнул, встряхнул — и гладить не надо, и как новая!

— А мне и в этой ладно. Она к телу ближе.

— Ближе! Твоей рубахой рыбу ловить сподручно: к ветру она ближе, а не к телу.

— А ты скажи, Федор Ипатыч, с тебя во тьмах-то, как рубаху сумаешь, искры сыпятся?

— Ну?

— Вот. Потому — чужая она, рубаха-то твоя. И от противности электричество вырабатывает. А у меня с рубахи ни единой искорки не спадет. Потому — своя, к телу льнет, ластится.

— Бедоносец ты, Егор. Пра слово: бедоносец! Природа обидела.

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак...

Улыбался Егор. Смирно улыбался. А Колька негодовал. Люто негодовал, но при старших спорить не смел: при старших спорить — отца позорить. Наедине возмущался:

— Ты чего смалчиваешь, тять? Он тебя всяко, а ты смалчиваешь.

— Бранчливых, Коля, сон не любит. Тяжко спят они. Маются. Так-то, сынок.

— С мяса они маются! — сердился Колька.

Сердился он потому, что Егор врал. Врал, сопел при этом, глаза прятал: Колька этого не любил. Не любил отца вот такого, жалкого. И Егор понимал, что сын стыдится его и мучается от стыда этого, и мучился сам.

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

А мучения все эти, стыд дневной и полуночный, крики жены да соседские ухмылочки — все от одного корня шли, и корнем тем была Егорова трудовая деятельность. Не задалась она у него, деятельность эта, на новом-то месте, словно вдруг заколодило ее, словно вдруг руки Егору отказали или соображение в гости утекло. И мыкался Егор, и лихорадило его, и по ночам-то спал он не в пример хуже бранчливого Федора Ипатовича.

— Руководить тобою нужно, Егор. Руководить!

Но зато был Колька. Ни у кого такого Кольки не было. Мужичка такого чистоглазого!..

3

Не задалась у Егора Полушкина на новом месте привычная работа. Правда, первых два месяца, когда топориком для Федора Ипатовича от солнышка до солнышка позванивал, все вроде нормально шло. Федор Ипатович хоть и руководил им, однако взащей не подталкивал, свою выгоду соблюдая. Мастера торопить нельзя, мастер — сам себе голова: это всякий хозяин сообразит. И хоть и бегал вокруг, и кипятил кровь, а особо подгонять не решался. И Егор работал, как сердце велело: где поднажать, где передохнуть, а где и отойти, присесть на бревнышко, на работу со стороны глянуть. Да не торопливо, не в задыхе — спокойно, взглядчиво, на три сигарки. За эту работу кормили его с семейством ежедневно, штаны старые дали и домишко. В общем, Егор не сетовал, не обижался: по закону, по сговору все было сделано. Полмесяца он в новом жилье устраивался, неделю радовался, а потом пошел работу искать. Не за-ради дома да удобства родственника — за-ради хлебушка.

Плотник есть плотник: за ним всегда работа бегаёт — не он за работой. Тем более что весь поселок труд Егоров видел, да и петух тот, его

топором сработанный, с конька на весь белый свет кукарекал. Так что взяли Егора, можно сказать, с поясным поклоном в плотницкую бригаду местной строительной конторы. Взять-то взяли, а через полмесяца...

— Полушкин! Ты сколько дён стенку лизать будешь?

— Дык ведь это... Доска с доской не сходится.

— Ну и хрен с ними, с досками! Тебе, что ль, тут жить? У нас план горит, премиальные...

— Дык ведь для людей жа...

— Слазь с лесов! Давай на новый объект!

— Дык ведь щели.

— Слазь, тебе говорят!..

Слезал Егор. Слезал, шел на новый объект, стыдясь оглянуться на собственную работу. И с нового объекта тоже слезал под сочную ругань бригадира, и снова куда-то шел, на какой-то самоновейший объект, снова делал что-то где-то, топором тюкал, и снова волокли его, не давая возможности сделать так, чтобы не маялась совесть. А через месяц вдруг швырнул Егор казенные рукавицы, взял личный топор и притопал домой за пять часов до конца работы.

— Не могу я там, Тинушка, ты уж не серчай. Не дело у них — понарошка какая-то.

— Ах горе ты мое бедоносец юродивый!..

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

Откочевал он в другую бригаду, потом в другую контору, потом еще куда-то. Мыкался, маялся, ругань терпел, но этой поскаковской работы терпеть никак не мог научиться. И мотало его по объектам да бригадам, пока не перебрал он их все, что были в поселке. А как перебрал, так и отступился: в разнорабочие пошел. Это, стало быть, куда пошлют да чего велят.

И здесь, однако, не все у него гладко сходилась. В мае — только земля вздохнула — определили его траншею под канализацию копать. Прораб лично по веревке трассу ему отбил, колышков натыкал, чтоб линия была, по лопате глубину отметил:

— Вот до сих пор, Полушкин. И чтоб по ниточке.

— Ну, понимаем.

— Грунт в одну сторону кидай, не разбрасывай.

— Ну, дык...

— Нормы не задаю: мужик ты совестливый. Но чтоб...

— Нет тут вашего беспокойства.

— Ну, добро, Полушкин. Приступай.

Поплевал Егор на руки, приступил. Землица сочная была, пахучая, лопату принимала легко и к

полотну не липла. И тянуло от нее таким родным, таким ласковым, таким добрым теплом, что Егору стало вдруг радостно и на душе уютно. И копал он с таким старанием, усердием да удовольствием, с какими работал когда-то в родимой деревеньке. А тут майское солнышко, воробьи озоруют, синь небесная да воздух звонкий! И потому Егор, про перекуры забыв, и дно выглаживал, и стеночки обрезал, и траншея за ним еле поспевала.

— Молоток ты, Полушкин! — бодро сказал прораб, заглянувший через три часа ради успокоения. — Не роешь, а пишешь, понимаешь!

Писал Егор из рук вон плохо и потому похвалу начальства не очень чтобы понял. Но тон уловил и наддал изо всех сил, чтобы только угодить хорошему человеку. Когда прораб явился в конце рабочего дня, чтобы закрыть наряд, его встретила траншея трехдневной длины.

— Три смены рванул! — удивился прораб, шагая вдоль канавы. — В передовики выходишь, товарищ Полушкин, о чем я тебя и...

И замолчал, потому что ровная, в нитку траншея делала вокруг ничем не примечательной кочки аккуратную петлю и снова бежала дальше, прямая как стрела. Не веря собственным глазам, прораб долго смотрел на загадочную петлю и не менее загадочную кочку, а потом потыкал в нее пальцем и спросил почти шепотом:

— Это что?

— Мураши, — пояснил Егор.

— Какие мураши?

— Такие, это... Рыжие. Семейство, стало быть. Хозяйство у них, детишки. А в кочке, стало быть, дом.

— Дом, значит?.

— Вот я, стало быть, как углядел, так и подумал...

— Подумал, значит?

Егор не уловил ставшего уже зловещим рефрена. Он был очень горд справедливо заслуженной похвалой и собственной инициативой, которая позволила в неприкосновенности сохранить муравейник, случайно попавший в колею коммунального строительства. И поэтому разъяснил с воодушевлением:

— Чего зря зорить-то? Лучше я кругом окопаю...

— А где я тебе кривые трубы возьму, об этом ты не подумал? На чьей шее я чугунные трубы согну? Не сообразил?... Ах ты, растудить твою...

Про петлю вокруг муравьиной кучи прораб растрезвонил всем, кому мог, и проходу Егору не стало. Впрочем, он еще терпел по великой своей привычке к терпению, еще ласково улыбался, а Колька ходил сплошь в синяках да царапинах. Егор сразу заметил синяки эти, но сына не трогал:

вздыхал только. А через неделю учительница пришла.

— Вы Егор Савельич будете?

Нечасто Егора отчеством величали, ох нечасто! А тут — пигалица, девчоночка, а — уважительно.

— Знаете, ваш Коля пятый день в школу не ходит.

— Как так получается?

— Наверное, обидел его кто-то, Егор Савельич. Сначала он дрался очень, а потом пропал. Я его вчера на улице встретила, хотела расспросить, но он убежал.

— Неуважительно.

— Вы поговорите с ним, Егор Савельич. Поласковее, пожалуйста: он мальчик чуткий.

— Конечно, как водится. Спаси бог за беспокойство ваше.

Поздним вечером, когда в окнах засветились телеэкраны, Егор застал Кольку в сараюшке. Колька было прикинулся спящим, засопел почище поросенка, но отец будить его не стал, а просто сел на топчан, достал кисет и начал скручивать сигарку.

— Учителка твоя приходила давеча. Обходительный человек.

Примолк Колька. И поросенок тоже примолк.

— Ты ее не тревожь, сынок, не беспокой. У ней, поди, и без нас хлопот-то.

Повернулся Колька, сел, глаза вытаращил. Злющие глазищи, сухие.

— А я Тольке Безуглову зуб вышиб!

— Ай, ай! Что же так-то?

— А смеется.

— Ну, дык и хорошо. Плакать нехорошо. А смеяться — пусть себе.

— Так над тобой же! Над тобой!.. Как ты трубы гнул вокруг муравейника.

— Гнул, — сознался Егор. — А что чугунные-то не гнутся, об этом не додумал. Жалко, понимаешь, мурашей-то: семейство, детишки, место обжитое.

— Ну, а что кроме смеху-то, что? Все равно ведь канаву спрямили — только зря ославился.

— Не то, сынок, что ославился, а то, что... — Егор вздохнул, помолчал, собирая в строй разбежавшиеся мысли. — Чем, думаешь, работа держится?

— Головой!

— И то. И головой, и руками, и сноровкой, а главное — сердцем. По сердцу она — человек горы свернет. А уж коли так-то, за-ради хлебушка, то и не липнет она к рукам-то. Не дается, сынок, утекает куда-то. И руки тогда — как крюки, и голова — что пустой чугунок. И не дай тебе господь, сынок, в

месте своем ошибиться. Потому место все определяет для сердца-то. А я тут, видать, не к месту пришелся: не лежит душа, топорщится. И шумно тут, и народ дерганый, и начальство все спешит куда-то, все гонит, подталкивает да покрикивает. И выходит, Коля, выходит, что я себя маленько потерял. И как найти — не удумаю, не умыслю. Никак не удумаю — вот главное. А что смеются, так пусть себе смеются в полное здравие. На людей, сынок, обижаться не надо. Последнее это дело — на людей обиду держать. Самое последнее.

Говорил он это не сыну в учение, а по совести. Сам-то он на людей обижаться не умел, обиды прощал щедро. И даже на прораба того, что по поселку его ославил и от работы всенародно отстранил, никакого зла не держал. Сдал очередные казенные рукавицы и опять пошел в отдел найма.

— Ну, что мне с тобой, Полушкин, делать? — вздыхал начальник. — И тихий ты, и старательный, и непьющий, и семья опять же, а на одном месте больше двух недель не держишься... Куда тебя теперь...

— Воля ваша, — сказал Егор. — Какое будет распоряжение.

— Распоряжение!.. — Начальник долго пыхтел, чесал в затылке. — Слушай, Полушкин, тут у нас лодочная станция на пруду открывается. Может, лодочником тебя, а? Что скажешь?

— Можно, — сказал Егор. — И грести умеем, и конопатить, и смолить. Это можно.

Прошлым летом речку под поселком запрудили. Разлилась, ложки затопила, углом к лесу подобралась: к тому, последнему, что вокруг Черного озера еще сохранился. Ожили старые вырубки, березняком закурдявились, ельником да сосенником заштитинились. И уж не только свои, поселковые, — из центра туристы наезжать стали. Из самой даже вроде бы Москвы.

Вот тогда-то и сообразило местное начальство свою выгоду. Туристу, а особо столичному, что надо? Природа ему нужна. По ней он среди асфальта да многоэтажек своих бетонных с осени тосковать начинает, потому что отрезан он от земли камнем. А камень — он не просто душу холодит, он трясет ее без передыху, потому как не способен камень грохот уличный угасить. Это тебе не дерево — теплое да многотерпеливое. И грохот тот городской, шарахаясь от камней да бетона, мечется по улицам и переулкам, проползает в квартиры и мотает беззащитное человеческое сердце. И уже нет этому сердцу покоя ни днем ни ночью, и только во сне видит оно росные зори и прозрачные закаты. И мечтает душа человеческая о покое, как шахтер после смены о тарелке щей да куске черного хлебушка.

Но чистой природой горожанина тоже не ухватишь. Во-первых, мало ее, чистой, осталось, а во-вторых, балованный он, турист-то. Он суетиться привык, поспешать куда-то и просто так над речушкой какой от силы два часа высидит, а потом либо транзистор запустит на всю катушку, либо, не дай бог, за поллитрой потянется. А где поллитра, там и вторая, а где вторая, там и безобразия. И чтобы ничего этого не наблюдалось, надо туриста отвлечь. Надо лодку ему подсунуть, рыбалку организовать, грибы-ягоды, удобства какие-нито. И две выгоды: безобразий поменьше, да деньга из туристского кармана в местный бюджет все же просочится, потому что за удовольствия да за удобства всякий свою копеечку выложит. Это уж не извольте сомневаться.

Все эти разъяснения Егор получил от заведующего лодочной станцией Якова Прокопыча Сазанова. Мужик был пожилой, сильно от жизни уставший: и говорил тихо, и глядел просто. Был он в прошлом бригадиром на лесоповале да как-то оплошал: под матерую сосну угодил в полной натуре. Полгода потом по больницам валялся, пока все в нем на прежние места не вернулось. А как оклемался маленько, так и определили его сюда, на лодочную станцию.

— Какая твоя, Полушкин, будет забота? Твоя забота — это, перво-наперво, ремонт. Чтоб был

порядок: банки на месте, стлани годные, весла в порядке и воды чтоб в лодках не боле кружки.

— Сухо будет, — заверил Егор. — Ясно-понятно нам.

— Какая твоя вторая забота? Твоя вторая забота — пристань. Чтоб чисто было, как в избе у совестливой хозяйки.

— Это мы понимаем. Хоть ешьте с нее, с пристани-то, так сделаем.

— Есть с пристани запрещаю, — устало сказал Яков Прокопыч. — Под навесом столики сообразим и ларек без напитков. Ну, может, чай. А то потопнет кто — затаскают.

— А если свое привезут?

— Свое нас не касается: они люди вольные. Однако если два своих-то, придется отказать.

— Ага!

— Но — обходительно. — Яков Прокопыч важно поднял палец: — Обходительность — вот третья твоя забота. Турист — народ нервный, больной, можно сказать, народ. И с ним надо обходительно.

— Это уж непременно, Яков Прокопыч. Это уж будет в точности.

С заведующим разговаривать было легко: не орал, не матерился, не гнал. Разумные вещи разумным голосом говорил.